

Содержание

Часть первая

7

Часть вторая

121

Эпилог

338

Часть первая

Глава 1

Шептун наклонился к полутруп. Тот посмотрел на него отрешённо и нежно. Тогда Шептун, в миру его иногда называли Славой, что-то забормотал над уходящим. Но полутруп вовсе не собирался совсем умирать: он ласково погладил себя за ушком и улыбнулся, перевернувшись вдруг на своём ложе как-то по-кошачьи сладостно, а вовсе не как покойник. Но Слава шептал твёрдо и уверенно. И они вдвоём рядышком были совершенно сами по себе: вроде бы умирающий Роман Любуев и что-то советующий ему человек по прозвищу Шептун: ибо он обычно нащёптывал нечто малопонятное окружающим.

Правда, окружение его было совершенно дикое. Дело происходило в конце второго тысячелетия, в Москве, в подвале, или, точнее, в брошенном «подземном укрытии» странноватого дома в районе, раскинувшемся вдали и от центра, и от окраин города. Однако окружающие дома здесь производили впечатление именно окраины, только неизвестно чего: города, страны, а может быть, и самой Вселенной. Некий жилец с последнего этажа небольшого дома так и кричал, бывало: «Мы, ребята, живём на окраине всего мироздания!!

Да, да!!» Многие обитатели, особенно пыльные старушки, вполне соглашались с этим.

В «подвале» (точнее, в «подземном царстве») жили бомжи, а если ещё точнее, бывшие видные учёные, врачи, эксперты, инженеры, но и бывших рабочих тоже хватало. Никакого социального расслоения там уже не было.

Полутруп расположился в углу, на кровати из хлама, где не было даже лоскутного одеяла, зато на воле стояло жаркое лето. Шептун шептал ему о том, чего нет.

— Да не полутруп он вовсе, не полутруп! — завизжал вдруг диковатый, как сорвавшийся с цепи, старичок из дальнего угла.

— Он уже сколько раз умирает, и всё ничего! Сёма у нас гораздо больше на полутруп похожий, если взглядеться как следует, особенно со стороны души! Правда ведь, Семён? — и старичок обратился к угрюмо бродящему в помещении среднего роста мужчине. Тот кивнул головой и промолчал.

В стороне кто-то выл:

— Всё погибло, всё погибло!

На него никто не обращал внимания.

Шептун Слава отпал. Это потому, что Роман-полутруп изумил его своей лаской. Он опять повернулся, причём на бок, и положил свою ручку под щёчку, даже чуть-чуть замурлыкал себе под нос — правда, духовно Шептун, который уводил людей перед их смертью в фантастический разум, не понимал этого. Не понимал он и того, почему Роман всё время умирает, но не до конца. Уже который раз Слава шептал ему, шептал и шептал о каких-то

чёрных норах, о золотых горах после смерти, а Роман всегда возвращался. Возвращала его к жизни тихая нежность к себе. Один учёный, из заслуженных бомжей, так и сказал про него: «Нарцисс в гробу».

С тех пор это прозвище как бы закрепилось за Романом Любуевым, хотя называли его часто весьма разными именами. Известно, что бродяги и бомжи народ бестолковый.

И когда Роман положил себе ручку под щечку, он ещё имел смелость потянуться на своей измученной кровати, словно изнеженный императорский кот.

— Ну, этот будет жить, — определил молодой очкастый блондин из бывших экспертов.

— Жизнь сошла с ума, — заключил некто в стороне.

Да Роман и не был так уж болен и стар в свои тридцать шесть лет, чтобы запросто уйти из этого мира. Шептун и тот был чуть постарше.

— Семён, а ты о чём думаешь? — спросил постоянно воющий о гибели человек. Он перестал внезапно выть, точно остановленный какой-то мыслью, и вопросительно посмотрел на того самого, мерно шагающего взад и вперёд мужчину по имени Семён, о котором было сказано, что он больше похож на труп, чем Роман.

Семён, кстати, молодой и мощноватый человечище, остановился и так посмотрел на вопрошавшего, что тот опять завыл. Потом Семён как-то пристально добавил:

— Мне, Николай, думать и не надо. У меня взамен дум тоска есть.

Семён Кружалов этот наводил ужас на окружающих его, выбитых из ординарной жизни людей, хотя сам по себе он обычно был тихий и даже застенчивый. Ужас наводили его глаза, голос и иногда — поведение, в котором обозначалась порой страшная затаённая угроза, причём угроза совершенно неведомого рода: не убийство, не душегубство, а нечто пострашнее, а что именно — определить и понять было нельзя, потому что она никогда не переходила в действие. Но такой угрозы, скрытой и таинственной, было вполне достаточно, чтобы всякое сопротивление ему мгновенно увядало. Но особенно мучили его глаза: появлялось в них одно выражение, от которого просто отшатывались.

— Труп живой в меня вселился, вот что, — раскрылся как-то Семён Кружалов. — Вот в чём разгадка. Я уже не только Семён Кружалов, мудрый человек, но и поживший труп при этом. Поэтому и смотреть на меня жутко. Ведь это он, труп, часто сквозь мои глаза проглядывает. Он, а не кто-нибудь, — и Семён поднял указательный палец вверх. — Мне самому взглянуть бывает на себя страшно. Хорошо, что в нашем подвале нет зеркал.

В подвал, правда, заходил милиционер, но,глянув в глаза Семёну, застрелился, выйдя оттуда. К счастью, событие списали за счёт психики служивого, а на подвал махнули рукой. Семён по скромности редко рассказывал об этом. Но ясно было всем, что Роман Любуев, или Нарцисс в гробу, в смысле трупности был на десять очков ниже, чем Семён, тем более Роман слишком уж любовался своим отсутствием и безжизненностью и даже жил

этим любованием, особенно когда действительно был при смерти. Нарцисс в гробу — потому так и звали его. И конечно, Семёна он не оспаривал, он даже побаивался его. И Шептун тоже к Сёме подластивался: чего, мол, шептать такому, живой труп в нём почище всяких шалопутов может это-кое нашептать, что... лучше не подходить.

Плакали в подвале очень часто, кроме Семёна, конечно, но не очень глубоко, просто оттого, что, дескать, жизнь стала какая-то непредсказуемая. Но с другой стороны, и хохотали при этом много — причём от всей души.

Впрочем, шла нормальная жизнь. А хлеб повседневный каждый добывал по-своему, порой с фантазией.

У Кружалова, у единственного, была даже собственная комната, точнее, угол в этом подвале, но решительно отделённый от другого пространства, напоминающего скорее подземное общежитие или брошенное бомбоубежище, чем простой подвал. Вероятно, когда-то, лет шестьдесят назад, здесь действительно было бомбоубежище. Эта догадка веселила всех, но не больше.

— Какие бомбы на нас, бедолаг, сейчас могут падать? — тихо шептал Слава Роману Любуеву. — Невидимые, невидимые бомбы... Которые душу убивают...

Роман отнекивался и не верил, что душу можно убить.

Иногда точно свет какой-то возникал в этом подземелье: это приходил ночевать художник-бомж, приносивший сюда картины странного художника

Самохеева, который дарил ему некоторые свои полотна. Бомжи считали, что эти картины вообще ничего не стоят, и именно этим хороши.

— Кому, кроме нас, нужны такие пейзажи, — утверждал воющий по дням и ночам бомж Коля. — Одни гробы, из гробов нечеловеческие руки высовываются, бабы, небо хмурое и земля больная... Правда, здорово написано. Пусть и висят у нас тут, под землёю. Во-первых, видно плохо, во-вторых, красиво.

В подземелье приносили свечи, и некоторые внимательно по ночам рассматривали эти «загробные пейзажи».

Друг странного Самохеева бомжом скорее был по душе, чем по обстоятельствам, но часто, выпив стакан водки, плакал перед этими картинами...

— Мне так не нарисовать, — жаловался он.

Потом он уносил эти картины куда-то, и стены бомбоубежища долго тогда пустовали.

— От бомб жизни мы здесь спасаемся, бомжи, — нередко кряхтел старичок, указавший пальцем на Семёна: дескать, какой Роман труп по сравнению с Кружаловым, хоть и нарцисс при этом. Роман всего-навсего обычный умирающий, а вот Семён — это да...

Кружалов выделял этого старичка и никогда не пугал его своим взглядом. Старичок очень гордился этим.

Кроме себя самого, с живым трупом внутри, Семён отличался ещё одной особенностью: к нему в подземелье приходила женщина, причём красивая, молодая и очень образованная. Это поражало всех.

Глава 2

Марина Воронцова была не только образованная, но и загадочная, даже необычная молодая женщина. Было ей всего около тридцати лет, уже успела развестись, и жила она свободно, как хотела, преподавала в разных университетах историю мировой культуры...

Однокомнатная её квартира, довольно просторная, не без антиквариата, но недорогого, располагалась в доме, отдалённом от «бомбоубежища» всего на расстоянии двух коротких автобусных остановок.

Несмотря на свою красоту, Марина, чуть не с ранней юности, ненавидела свои зеркальные отражения.

Как только её взгляд падал на себя в зеркале, в её глазах вспыхивал злой огонь, который говорил: это не я. «Это не я, — шептала самой себе Марина. — Пусть красива. Ну и что? Я больше и значительней, чем это существо, которое вижу в зеркале. К тому же — почему “существо”? Если существо, то, значит, я кем-то создана, а я не хочу быть кем-то созданной, даже Первоначалом».

Иногда это доходило до бешенства. «Глаза, нос, уши — зачем мне всё это? — бормотала Марина,

одиноко расхаживая по своей квартире. — Я бесконечна, я не это маленькое существо с распущенными волосами... Повешу-ка я на свои зеркала чёрную материю, как делают, когда покойник, как будто я умерла».

И решила она занавесить свои зеркала чёрным полотном. Даже близкие друзья испугались такого действия. Пришла тогда её лучшая подруга, Таня Самарова, в некотором отношении даже противоположная ей по внутренним тайнам души, и сразу заявила, хотя и со смешком, что, дескать, не стоит. Не стоит, мол, играть со смертью в кошки-мышки, хотя смерть, конечно, в целом — пустяки, всего лишь смена декораций.

Они сидели за журнальным столиком. Марина смеялась и пила вино, глядя на занавешенное большое зеркало, расположенное в центре, у стены, как будто это была картина гениального художника. Смех редко был её качеством, но именно со своей Таней она могла поддаваться некоторому веселию.

— Ты спроси у своего Главного, у Буранова, стоит ли ненавидеть свои отражения, — шутила Марина.

— Нет, лучше ты спроси у своего Главного, — ответила Таня.

— Кого это ты имеешь в виду? — осторожно спросила Марина.

— Конечно, того, кого никто не знает. Фамилия, правда, есть: Орлов, — обронила Таня.

— Ну, это уж слишком, — вырвалось у Марины. — Во-первых, ведь я сама по себе. Во-вторых,

это единственный, так сказать, человек, который для меня невероятен, и никто не знает, кто он на самом деле... Твой Учитель, конечно, велик, но этот...

Она махнула рукой.

— Но всё-таки они знакомы друг с другом, если вообще о них можно употреблять слова, взятые из обычного оборота жизни, — вставила Таня и хлебнула винца.

— Нет, нет «обычного не надо», — процитировала Марина. — Лучше пойду в своё подземелье, к бомзам... Пойдём со мной?

Таня отказалась: мол, это не моё. Марина странно улыбнулась, и подружки расстались...

Марина приходила к Семёну раза два-три в неделю — хотя, понятно, никакой близости между ними не было. Её просто тянуло к Семёну как к некоторой (пусть не такой уж и чудовищной) загадке: Марина ценила по-настоящему людей.

Семён относился к её приходам снисходительно, хотя во многом удивлялся ей. Поползновений не делал, а просто тупел от загадочности. Марина приносила ему не раз полевые цветочки.

Семён нюхал, причём именно в этот момент в нём появлялся труп. Понюхав, Сёма-труп ставил цветочки в бутылочку из-под водки, а потом — в угол, где иногда появлялись крысы.

Марина ничего не боялась: она уже давно разучилась чего-либо страшиться, относясь к этому миру и ко всему, что происходит, как к бреду, в котором, однако, есть интересные дыры... только вот куда они вели, эти провалы...

Семён, впрочем, даже оберегал её от пугливо-любопытствующих взглядов своих бродяг. Те вообще ничего не понимали в этой истории.

Кружалов обычно приглашал Марину сесть на свой помоечный табурет, другой табурет ставил перед ней, на нём, конечно, появлялись полбутылки водки, а сам садился на пол, скорее на землю: определить, что это — пол, земля или небо — действительно было трудно.

И на этот раз, после обсуждения с Таней «чёрных зеркал», Марина пришла и уселась на этот неустойчивый табурет.

После первой же рюмки Семён стал жаловаться на то, что он — труп.

— Ничего страшного. В каждом из нас гнездится труп, — утешила его Марина, — потому что все мы умрём, как выражаются люди. Да и весь этот мир — огромный труп, ведь всё в нём погибнет, так что ж тут необычного, Семён, если ты считаешь себя трупом? — заключила она.

— Хитришь, Марина, хитришь. Зачем? — угрюмо ответил Кружалов. — Сама ведь знаешь, что во мне не простой труп, а живой. А это жутко. Я, Марина, в ад хочу.

— Как будто мы на этой планете уже не в аду, — усмехнулась Марина. — Сиди уж тут, на табуретке.

— Всё-таки ответь: почему ты ко мне приходишь? Разве я человек?

Сёмой овладело какое-то бесконечное спокойствие. Это бывало, когда труп в нём совершенно обнажался. Марина знала эти моменты. И любила

их. Дело в том, что в глазах Семёна она улавливала при этом бытие смерти, если можно так парадоксально выразиться. И Семён тогда просто не находил себе места в этом мире, ибо он, мир этот, целиком не соответствовал тому, что было у него внутри. Поэтому Семён угрюмо высказывал в этом случае своё желание сбежать в ад, рассчитывая, что он найдёт там себя, своё местоположение. Марина разубеждала его в этом, не советуя стремиться сломя голову туда, объясняя Семёну, что ад — это не его место и что, вообще говоря, во всей Вселенной, видимой и невидимой, ещё нет места для таких, как он, Семён.

Взгляд Семёна при таких беседах становился до того парадоксальным, что у Марины захватывало дух, и она благодарила Себя за то, что видит такое.

Под словом «Себя» она имела в виду, естественно, нечто бесконечное. И ей иногда хотелось сломить свою «вечность», чтобы познать то, что не входит ни в какие рамки. Мрачная была девочка, одним словом, хотя выглядела она порой весело.

Семён втайне был согласен с ней. Так и сидели они одни, в подземелье, при свечах и крысах, за бутылкой водки, при шорохах — ибо любопытствующие бомжи ползали около угла своего Семёна в надежде что-либо понять.

Семён знал об этой их слабости, только повторял про себя: «где уж им...»

Прошло некоторое время.

Тени на стенах всё время видоизменялись, точно откуда-то возникали и исчезали допотопные

существа. Марина внимательно посмотрела на Кружалова.

— Жуток ты сегодня чересчур, Семён, — улыбнулась она. — Что ты видишь?

— Смерть, смерть вижу, — прорычал неожиданно Семён. — Всё вокруг меняется, черты уже другие, что-то рушится... И ты уже не та, и картина не та за твоей спиной.

Вдали, за камнями, завывли.

«Это опять наш Коля», — подумала Марина.

— Все формы, все уже другие и пространство тоже, — тихо рычал Семён. — Смерть, смерть везде вижу. Когда смертию умирают, это конец, и всё, а я её вижу, она живая, я живу смертию, а не умираю... Да, да, Марина...

— Может, помочь тебе? — участливо спросила Марина.

Семён посмотрел на неё дико-потусторонним взглядом.

— Это пройдёт, Сёма, пройдёт, это ещё не самое страшное, — шепнула Марина, наклонившись к нему. — Ничего не бойся, наблюдай — и всё...

Из какой-то норы выползло существо, похожее на человека.

— Где тут выжить? — прохрипело оно и исчезло в норе.

Марина погладила неподвижное лицо Семёна. Он молчал, как будто душа его превратилась в гору льда.

— Этот наш, наш, — проскрипел за спиной Марины чей-то почти нечеловеческий голос.

Она вздрогнула и обернулась.

— А, это ты, Никита! — успокоенно сказала она. — Садись, будешь гостем...

Но садиться было не на что.

Никита, так звали это существо, появлялся в «укрытии» очень редко, и вызывал у всех полное недоумение. И не потому только, что обычно не произносил лишних слов, а говорил если, то так странно, что его, как правило, никто не понимал.

Было в нём что-то совсем иное, не похожее на всех без исключения, но бомжи отказывались даже думать об этом. «Мы здесь не на том свете, чтоб думать», — сказал один бомж, бывший преподаватель древней истории.

Марина видела Никиту всего раза четыре, но он как-то врезался ей в ум.

Никита на приглашение не среагировал, но, посмотрев на ноги Марины, вдруг испугался и отшатнулся к стене.

— Что ты там увидел, Никита? — обрадовалась Марина. — У меня ноги правильные, человечески, что ты так задрожал-то, милоч?

Никита не смог ничего ответить, но с любовью посмотрел на лицо Марины. Возникло молчание.

— Мне бежать! — вдруг воскликнул Никита и побежал.

Семён как сидел неподвижно, так и оставался. Марина взглянула на картину. На неё смотрели глаза бабочки, хотя, как известно, у бабочек нет глаз в нашем понимании. И рук у них нет тоже. Но у этой была рука.

Довольная, Марина обернулась к Семёну, помахала ему, неподвижному, рукой и выпорхнула из подземелья. Бомжи её боялись, потому что за её спиной стоял Семён. А с ним шутить было нельзя.

— Какая она красивая, — вздохнул ей вслед кто-то на полу. — Если б у нас была воля к жизни, мы бы её съели.

А Марина опять оказалась в своей квартире. Ей слегка взгрустнулось, что Таня ушла. Но это быстро прошло. Подойдя к зеркалу, она быстрым рывком, одним движением руки сорвала чёрное покрытие и увидела себя — родную, страшную, ибо эта фигура была она, а всё, что касается себя, в глубине всегда страшно.

Она по-жуткому усмехнулась.

— И это всё, — с ненавистью сказала она своему отражению. — Ни за что. Никогда. Это не Я.

И взяв каменную фигурку Будды со стола, стремительно бросила её в зеркало. Зеркало раскололось, упало, разбилось.

— Так-то вот, — с пеной у рта сказала она. — Никаких отражений, никаких образов, никаких форм. Я люблю только чёрную точку в своей душе, чёрную пропасть там...

Глава 3

Как чудесна и глубинна бывает Москва в своей непостижимости! Этой непостижимости не мешает даже нежная красота, которая очевидна, когда идёшь, например, по Тверскому бульвару и видны по бокам маленькие дворянские особняки с умильными окошечками. Вот-вот — и выглянет оттуда необыкновенная дворянская девушка XIX столетия, с томиком Пушкина в руке (а то, глядишь, и Достоевского).

Павел Далинин, молодой человек нашего времени, чему-то беспричинно радуясь и в то же время тоскуя, прогуливался по Тверскому бульвару мимо памятника Есенину, поэзию которого он, конечно, очень ценил.

Постепенно, однако, грусть в нём вытеснила радужные чувства. Но это была, как говорится, светлая грусть. И он в конце концов очутился на скамейке, но уже вдали от памятника Есенину, в садике, где находится «сидячий» Гоголь — монумент всем известный, около Арбата.

Скамейка была пуста, вокруг тихо, но Далинин, взглянув, помрачнел из-за своего соседства с этим, несколько депрессивным творением, в чём-то даже

пугающим его: Гоголь здесь был явно подавлен, а его герои, наоборот, как живые...

Но его размышления прервало появление старичка, плюхнувшегося около него на свободное место. Старичок был толстенький, с розовыми щёчками, он немного подозрительно, но как-то славно сиял. Глазки его выражали крайне беспричинную доброту.

Павел с сожалением посмотрел на него.

— А правда, этот памятник как живой, — дружелюбно заметил старичок, обращаясь к Далинину. — Вот-вот встанет наш Гоголь и чего-нибудь закричит. А то и напроказит как-то...

— Бросьте свои штучки, — угрюмо ответил Далинин.

— А что? Ведь он был человеком, а раз человеком, значит, и набезобразить может...

Тут Далинин даже улыбнулся.

— Не грустите, молодой человек, — поправил его старичок. — Пора нам расставаться со всякой грустью... Кстати, а что вы сегодня вечером делаете?

— Ничего, — коротко ответил Павел.

— Вот видите. Занять себя даже не можете. Хотите, я вас займу?

Павел выпучил на старичка глаза.

— Не бойтесь, всё будет шито-крыто, и место очень приличное, не какое-нибудь развратное. Будет достойная компания, иных знаменитых вы, может быть, узнаете... Артисты, художники и деятели, очень активные в своей сфере. Познакомитесь.

Павел, которому действительно сегодня было как-то невольно, удивился, однако ж, тому, что его даже обрадовало внезапное приглашение, да ещё незнакомого старичка, пусть и пухленького, аккуратного такого...

— А значит, люди там будут солидные, староватые для меня, — вдруг выпалил он, не ожидая от себя такого быстрого течения к согласию...

— Да что вы, там молодежь тоже будет. И девушки, образованные, умные такие.

— Да как же я, незнакомый им человек — и вдруг приду...

— Бросьте. Наверняка вы встретите там хорошо известных вам лиц. Развлечётесь, в конце концов, вино дорогое будет, чего горевать-то зря...

— А вы там будете? — глупо спросил Павел.

— А как же, а как же! Я вас и представлю. Звать-то вас как?

— Далинин Павел.

— Вот и ладушки. Приходите сегодня к восьми часам. Тут я вам черкну адрес, — и старичок написал что-то на бумажке. — Очень просто. Если что не так, меня сразу не найдёте, или если я не успею, не смогу прийти, скажите, что от Безлунного Тимофея Игнатьевича. Вас сразу пустят.

Павел взглянул на бумажонку: это в центре, недалеко, действительно просто: «Может, гулянуть? — подумал он. — А то настроение что-то быстро меняется не в ту степь, надо поправиться. Чего думать-то? Все мы люди свои, и старичок весьма доброжелательный, хоть бы не помер,

пожил бы ещё подольше, лет сто-двести. Я ведь людей люблю, — оживился Павел про себя, — хотя и скрываю это...»

Он не заметил, как старичок уже отплыл в сторону. Издалека он помахал Павлу женственной ручкой: дескать, скоро увидимся...

— Да, надо отвлечься, — окончательно решил Павел. — А то все разговоры о потустороннем, о жизни, о её подтексте, Достоевский, Ницше, Блок, Платонов, Лотреамон, Мейринк... И так до бесконечности. Можно и отдохнуть, в конце концов, на халяву. — И он почему-то погрозил пальцем сидячему Гоголю...

...В восемь вечера Павел подходил к дому, указанному в записке толстенького и весёленького старичка.

Дом этот был заброшенный, но, в общем, нормальный, в духе начала века: высокие потолки, широкая парадная дверь, но почему-то относительно узкая, тёмная и неопрятная лестница. Лифт не работал, но подниматься надо было всего лишь на четвёртый этаж. Он подошёл к высокой и обшарпанной двери указанной квартиры. Набрался вдруг лихости и настойчиво позвонил.

Изнутри раздался хриловатый и какой-то пропитой женский голос:

— Кого ещё черти несут?

Но дверь распахнулась, и перед Павлом оказалась весьма милая дама лет тридцати пяти.

Павел глянул внутрь: было темновато, но полно народу, кричащего, шумноватого, но старичка своего он не увидел.

— Я от Безлунного, — выпалил Павел, почему-то покраснев.

— Бог с вами, — миролюбиво наклонила голову дама. — Проходите не спеша.

Квартира показалась Павлу довольно просторной, но обычной, хотя одновременно он почувствовал в ней какую-то странность, но в чём дело, он так и не мог понять, настолько всё было повседневно. У стола в гостиной толпились люди, не всем было место сидеть, некоторые ходили сами по себе по коридору и по комнатам, покурявая и беседуя. Павел, было, смутился от обилия вина и людей и потому решил сразу же выпить — и внезапно повеселел. Захотелось обнимать всех и знакомиться.

Сразу на него двинулся молодой человек, видимо, его возраста, даже чуть помоложе, но как-то не по-современному постриженный, и раскрыл руки для объятий. Павел от неожиданности отстранился в сторону и взглянул на благодушного. «Где-то я его встречал, — мучительно подумал Павел. — Помню это лицо... Но где? Где?»

Что-то до боли знакомое, даже родное, почувдилось Павлу в этой физиономии. «Недаром старичок предупреждал», — мелькнуло в уме. Но воспоминания заглушили очередная порция водочки и объятия, а затем хитрые, лисьи, быстрые, даже нагловатые поцелуи странного молодого человека. Он даже хлопнул Павла по заднице — может, в знак дружеского расположения.

Закусь показалаась Павлу неважной, простоватой слишком. Но люди были весьма спокойные,

в меру довольные собой, уверенные и чаще всего болтали о бабах.

«И это в наше-то время, — озлился вдруг Павел. — Когда страна вот-вот взорвётся. Когда у всех нервы на пределе. Хамы стопроцентные, эгоисты, жрут, пьют, и, знай себе, одно бабьё на уме... А Россия...»

Впрочем, баб было не поровну.

«А одеты, кстати, плохо, — заметил про себя Павел. — А где же старичок всё-таки, пухленький мой...»

И он пошёл искать старичка. Но его не было. Спросил: «А Безлунный-то где?» — но от него отшатнулись. «Опять что-то не то, — заскулил про себя Павел. — Но что “не то”: кругом так обыденно, даже скучновато. А ещё соблазнял чем-то необычайным, старикашка поганенький... Где оно, необычайное, здесь? Да его тут с огнём не сыщешь. Если б не водка, совсем тут скиснуть можно», — подумал Павел.

— Хочу необычного, чёрт побери! — внезапно крикнул он на весь коридор.

— Какой же вы нервный, — улыбаясь, к нему подошла прелестная девушка лет двадцати. — Вера Малинина, — представилась она, — дочь хозяйина этой квартиры, Малинина Петра Никитича, как вам известно.

«Ничего мне не известно», — подумал он. Вера вопросительно посмотрела на него.

— Мы же справляем такой день! Отец получил большую награду, повышение и орден. Кругом друзья, родственники, коллеги. Но мы и незнакомым сейчас рады, кто пришёл косвенно, от друзей...

Павел слегка кивнул головой, не отводя взгляда от девушки, от её нежных голубых жилочек, от глаз, полных власти жизни, от сияния неведомого света в них...

— Я и есть такой, — смущённо буркнул он.

Девушка тихо рассмеялась.

— Я поняла это. Смотрите — там мой дядя Валерий Никитич, а за ним моя мама Анна Кузьминична — видите, какая красавица, с бокалом вина... А вы от кого?

— От Безлунного...

— Не знаю такого. Но неважно. Наверно, какой-нибудь папин сослуживец.

Девушка до глубин каких-то всё больше и больше нравилась Павлу. Мелькнул опять благодушный паренек, опять почему-то хлопнул Павла по заднице и озорно подмигнул ему.

«Чего он хочет от меня? — подумал Павел. — Педераст, что ли? Нет, не похож. Просто шутник какой-то».

И он тут же забылся: уже вовсю действовало добротное, обжигающее вино. Водку он больше не пил, и вообще Далинин был крепок в отношении алкоголя, устойчив на ногах и не при таких дозах. Потому и решительно обнимался с кем попало, чего-то восклицал, кого-то обозвал лучшим другом, другого — родным братом, но при этом у него возникло и не покидало более то затаённо-, то явственно-непонятное чувство тревоги, беспокойства и вообще какой-то серой мути, провала, хотя вроде бы всё было ясно. Было трудно с этим чувством обращаться к кому

ни есть с ласковыми словами, но помогал, как всегда, алкоголь.

Наконец в сердце явно вселилась совершенно уже неожиданная влюблённость в эту Веру. Уж очень она была чистая, как ребёнок, таких он давно не видел, и чем-то задела она забытые им, скрытые уголки его сна и сознания.

Вера часто возникала рядом с ним.

— Вы какой-то странный, Павел, — вдруг сказала она ему.

Павел искренне удивился.

— Это ещё что? Почему?

— Я так чувствую. Но определить не могу. Что-то в вас есть чуть-чуть не то.

— Да это вы тут все чуть-чуть не то, — слегка возмутился Павел, — а вовсе не я. Я тоже это чувствую.

— Какие глупости! Что в нас странного?

— Всё равно, — вдруг выпалил Павел, — всё равно, ведь я в вас уже чуточку влюблен...

Вера мило и неожиданно покраснела.

«Ну и ну, ещё находятся девушки, которые лет в восемнадцать-двадцать краснеют, — подумал Далинин. — И это в наше время! Какое очарование!»

...Вскоре он потерял Веру. Закрутил вихрь из нелепых слов, речей, в чём-то даже непонятных Павлу, лиц, дружеских улыбок, неожиданных ссор, мелких недоразумений. Он не заметил, как пролетело часа два, голова мутнела, всё смешалось, позабылось, и вдруг где-то в сторонке, на кухне, удалённой коридорчиком от комнат, он, захотев

найти что-то вкусное, столкнулся один на один с молодой женщиной по имени Алина. Ещё минут десять назад он положил на неё глаз, где-то в гостиной, — телесно она была как раз в его вкусе, толстенькая, сладкая, с белой обнажённой шеей и нежными пухлыми руками. И здесь, наедине с ней в кухне, дикое, непреодолимое желание овладело им. Он готов был разорвать, съесть эту родную плоть, по имени Алина, выпить, вылизать её пышненькие подушечки-груды, измять... Пьяная Алина была ошарашена, чуть-чуть сопротивлялась, но быстро поддалась. Он овладел ею в большом стенном шкафу, «чтоб было не видно», как он глупо пробормотал. Их мгновенный сладострастный вопль никто к тому же и не слышал за общим шумом...

Но после наступил срыв. Алина расплакалась ещё в стенном шкафу. Паша вышел из стенного шкафа тоже сконфуженный и, несмотря на довольство, чем-то пришибленный и немного протрезвевший. Такой дикости с ним ещё не случалось; вдали стучали ложками, вилками, слышался смех, опять произносили тост... К тому же, к его стыду, в голову полезла мысль о Вере, такой чистой, чарующей и в которую он был к тому же чуточку влюблен...

— Вот те на, — ошарашенно бормотнул Паша и съел бутерброд.

Алина ускользнула в ванную.

Паша пошёл к людям, уши были красные, как флаги. Он ничего не понимал. К тому же восклицания, слова, которые здесь раздавались, стали

раздражать своей неадекватностью. Чтоб заглушить всё, выпил подвернувшиеся на столе грамм сто: чего — непонятно.

«Питьё-то какое-то архаичное, — подумал он. — Но как же Вера, Вера... Что за кошмар я совершил... Чтоб мне провалиться... Где Вера? Где она?»

Пьяная мысль осенила его:

«Надо извиниться перед Верой. Стать на колени и попросить прощения».

Но потом утих.

«Такая чистая русская девушка, — бормотал он. — Что же мне теперь делать?» Вера была где-то в стороне. Изредка мелькала Алина, бросая на него злые, растерянные взгляды: к тому же она всё время прикладывалась к водке. Павел и её жалел, но всё это было несовместимо с Верой. «Первый раз в жизни осрамился, — горевал он. — Что делать, что делать?»

Вдруг с ним что-то произошло. Сначала мелькнул парень-шутник, что хлопал его по задку, оказывается, его звали Костя. Потом он открыл дверь, и в квартиру вошла молодая женщина.

В этот момент в сознание Павла мгновенно вошёл странный туман, даже нечто похожее на взрыв изнутри, и он невольно пошатнулся. Но что случилось — он не понял. Да, ему плохо, но совсем не так, когда внезапно заболеваешь, он даже не мог определить, что этот удар и туманное безумие заключают в себе. Впрочем, такое состояние показалось ему почти невыразимым, и, пожалуй, безумие было не тем словом. Скорее, он стал

не самим собой — это было жуткое чувство, что он уже не он, что он, Павел, стал посторонним для самого себя существом, каким бывает прохожий на улице. Это было сильнее безумия, он как будто лишился чувства «я»... Но потом на мгновение возникло — как бы над его головой — иное Сознание, а сам он был внизу, маленький и смешной.

Внезапно он разглядел, что эта женщина, видимо, беременна, и что он её знает, и знает давно и хорошо, но кто она? Несуразность такого знания, этой «информации» тоже ошеломила его. «Зачем это мне, почему, в чём дело?» — эти слова промелькнули, как молния. Он еле стоял на ногах, не понимая, что происходит. В передней был полумрак, от этого он неясно видел лицо женщины... Кто она?

— Лена, проходи, — быстро сказал ей этот парень, Костя — очевидно, они были близкими людьми...

«Какая-то Лена, — тупо подумал, понемногу приходя в себя, Павел, — была ли у меня какая-то Лена?.. Кажется, была... Лен много...» Состояние, пронёсшееся как вихрь, ушло, оставляя следы. Лена прошла вперёд, не заметив Павла. А Костя задержался и опять хлопнул Павла по задку. Этот хлопок, наряду с нелепым ощущением, что Костя ему где-то, но неизвестно где, знаком, вывел Павла из себя.

— Ещё раз хлопнешь, морду набью, — прошипел он. Костя захохотал и хлопнул ещё раз. Павел тут же нанёс сильный удар в лицо — Костя пошатнулся, постоял на ногах секунду и рухнул. Раздался женский визг.

Павел, вне ума своего, схватил с вешалки чей-то плащ, стукнулся лбом об стену и, матерясь, выбежал из квартиры. Спустился вниз он стремительно, как будто превратился в рысь. Выбежал на тёмную улицу. Странно, совсем рядом оказался захудалый залапанный ларек, где толстуха торговала пивом, — Павел в жизни не видел такого обшарпанного ларька, ведь дело-то было в центре Москвы. Двое угрюмо-весёлых мужиков смотрели, как добродушная жирная продавщица разливает им пиво в стеклянные пол-литровые кружки. Вдруг Павла захватило, стало затягивать что-то, туда, к ларьку... «Господи! Как запах этого гнилого пива туманит меня. Почему?» — подумал Павел, но у него хватило воли оторваться и побежать дальше. Через минут пять-шесть он оказался на одной из известных арбатских улиц, здесь, не смотря на глубокий вечер, всюду горели огни, кругом вывески на английском языке, свет в ночных ресторанах. «Опять этот бред, — подумал Павел, — эти притоны, вся эта мразь, ворованные деньги, но, слава богу, за мной никто не гонится».

Он ошалело дошёл до метро и поехал домой.

Глава 4

Очнулся Павел утром в своей однокомнатной квартирке, где жил один. Лежал он на полу, около дивана. Украденный ни с того ни с сего плащ валялся на стуле. Голова трещала, во рту всё высохло, штаны мокрые.

«Ну и ну, — подумал он. — Никогда так не напивался. Хорошо ещё, что жив».

Он встал и медленно поплёлся на кухню выпить соку, холодной воды в конце концов. Руки тряслись. Соображение почти не возвращалось.

«Что я там натворил? — вертелось в уме. — Избил человека моложе меня. И всё старичок пухленький виноват. Зачем он меня туда привёл?»

Дрожащей рукой налил соку, выпил.

«И назвал-то он, старичок, себя как-то странно: Безлунный, — продолжал Павел про себя. — Что это за фамилия такая? А в самом собрании ничего странного не было, обычная пьянка. Наговорил старичок с три короба... Кто же там был?»

Но голова отказывалась думать. Тянуло опохмелиться. Но тогда надо было идти на улицу, выходить в свет. Для этого, по крайней мере, нужна воля. А воля и ум были ещё в похмельном расстройстве.